

АНТОН МАРТИ

Что такое философия?

Инаугурационная речь, произнесенная 16 ноября 1896 года в Пражском Карловом зале по случаю вступления в должность ректора Немецкого университета им. Карла-Фердинанда

[71]¹ Глубокоуважаемое собрание!

Как заметил Кант, есть нечто странное в том, что даже люди, хранящие бережное молчание в отношении наук, в которых они не располагают профессиональными знаниями, стремятся в области философии мастерски и с полной уверенностью обсуждать и решать вопросы.²

Напротив, специалист пошел бы на это с неохотой, и наверняка с этим связаны некоторые тяжелые последствия. Но если не обращать внимания на следствия, а заняться, вместо этого, изучением причин, тогда можно (действуя точно по принципу «все понять — все простить») и здесь встретить нечто более приятное,³ даже можно натолкнуться на нечто прямо-таки

¹ Вставки в квадратных скобках (здесь и далее) являются вставками переводчика. Приводимая в квадратных скобках пагинация соответствует изданию: A. Marty. Was ist Philosophie? Inaugurationsrede // Anton Marty. Gesammelte Schriften. (J. Eisenmeier, A. Kastil, O. Kraus. — Hrsg.) I. Bd., 1. Abt. Halle a. S.: Max Niemeyer Verlag, 1916. S. 69–93. — *прим. перев.*)

² Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik usw.. Vorrede [Пролегомены ко всякой будущей метафизике и т. д... Предисловие], ed. V. Erdmann, S. 12: «Так как все, кто хранят бережное молчание в отношении всех других наук, мастерски и смело участвуют в обсуждении и решении вопросов метафизики...». См. сходную мысль а. а. О. S. 4. Кант имеет здесь в виду, как видим, только *одну*, наиболее спорную, философскую дисциплину. Однако, как показывает опыт, сказанное им вполне распространяется и на психологию, этику, эстетику, одним словом, на всю область философии.

³ Для части этого факта, а именно для той *дерзости*, с какой люди участвуют в обсуждении философских вопросов, сам Кант сразу же дает объяснение, продолжая вышеприведенную мысль на с. 12: «... потому что здесь их незнание, конечно, не обнаруживается столь резко по сравнению с невежеством в сфере других наук». Сходным образом, на с. 4, где речь идет о метафизике как сфере знания, «в которой всякий, кто обычно не сведущ во всех других вещах, считает вправе высказывать здесь решающее суждение», Кант добавляет: «потому что в этой сфере еще отсутствует надежное мерило, с помощью которого можно было бы отличить основательное знание от пустой болтовни».

И даже если отсюда в виде исключения становится понятной *уверенность* дилетантского суждения в вопросах философии, то это никак не распространяется на особую *склонность* к такого рода суждениям. А причины этой склонности Кант касается в другом месте этого же своего сочинения, а именно, на с. 5. Здесь говорится о метафизике, что, хотя таковой еще нигде не существует, все же «потребность в ней тоже никогда не исчезнет, потому что интерес всеобщего человеческого разума теснейшим образом переплетен с ней».

отрадное. Ведь это специфически иное (по сравнению с другими сферами знания) обращение людей с философскими вопросами становится вполне понятным только из того обстоятельства, что философия прежде всех других наук становится [72] предметом всеобщего и живого участия. В философии — почти как в политике. Ведь если кто-то не прочитал восемь книг аристотелевской «Политики», Спинозовский *Tractatus theologico-politicus* или «О духе законов» Монтескьё, он все же может взять газету, попытаться объяснить себе происходящее и объявить себя сторонником определенных принципов и партий. Сходным образом обстоит дело и в философии.⁴

Философские проблемы не могли не коснуться даже того, кто мало сведущ в философских системах, которые после Фалеса, позволившего миру возникнуть из воды, вышли из бушующих мыслей многих выдающихся умов. Даже такого человека не могли не взволновать великие тайны жизни и мироздания; он тоже, находясь в поиске решения, сформировал себе определенные мнения, потом долгое время их лелеял, возможно, обрел их сторонников в своей среде. Мнения эти, подкрепленные потом всей силой чувства и привычки, в конце концов, укоренились в голове данного человека как нечто само собой разумеющееся, самоочевидное [*Evidentes*].

Так чем же является тогда философия, если к ней проявляют интерес столь многие люди, даже если они не всегда с достаточным почтением относятся к ее трудностям и к необходимости добросовестной философской выучки? Мы часто говорим лишь о том, что в этой сфере знания почти каждый человек запросто и отважно осмеливается высказывать свои суждения. Однако мы редко задаемся вопросом, хотя бы на мгновение, отчего же такой, казалось бы, простой, элементарный вопрос, как вопрос о том, что такое философия, обычно приводит людей не в меньшее смущение. Но когда мы обращаемся с этим вопросом не к философским дилетантам, а к профессиональным философам, то ответ у них, конечно, уже всегда готов, только вот ответ почти у всех разный. У Аристотеля можно прочесть, что философия (философия в собственном смысле, *πρωτη φιλοσοφια*) есть учение о последних основаниях и причинах [73] вещей. Стоики, напротив, определяли философию как стремление к добродетели, а Эпикур — как способность и искусство жить счастливо. Философы же Нового времени не соглашались ни с одной из этих школ, да и между ними самими не было на этот счет единого мнения. Для Спинозы философия является рассмотрением вещей *sub specie aeternitatis*, для Шеллинга — наукой о вечных первообразах вещей или наукой обо всем знании, а для Гегеля — даже мысленным постижением абсолютной истины, которая есть разум, понимающий себя как все бытие. В отличие от них, Вольф, чьи учебники и способ преподавания после долгих десятилетий покорили, наконец, в прошлом столетии германские университеты, бесстрастно определял философию как *scientia possibilium quatenus esse possunt*, а Герbart столь же трезво назвал ее обработкой понятий. А вот их современник Шопенгауэр, напротив, давал ей опять-таки гораздо больше

⁴ В качестве признака особого распространения интереса к философии вполне может служить тот факт, что изложения истории философии находят гораздо больший круг читателей и вследствие этого гораздо более частую переработку, чем история какой-либо другой науки.

обещающее имя — учение о сущности мира и человеческого духа (*doctrina de essentia mundi et mente humana*). Следует, наконец, упомянуть и пресловутую попытку определить философию, исходя из ее принципиальной противоположности к специальным научным исследованиям. При этом дело представляется таким образом, будто философия занимается теми же вопросами, что и специальные дисциплины, но стремится ответить на них с помощью иного метода. Или утверждается, будто при всей оригинальности философских проблем, они являются столь универсальными, что в своей совокупности относятся ко всем предметам, которые под другими углами зрения выступают объектом совершенно разных специальных наук.

Вид этого расхождения во мнениях поражает. Если у философов нет единого взгляда на задачи их собственной науки, то еще более понятным это кажется относительно трудностей, связанных с проблемами и методами философии. Но с еще большим правом можно задаться вопросом о том, как же это стало возможным, что философы не могут договориться даже о том, какой вообще тип задач стоит перед ними.

Все удивительное побуждает к размышлению. И я надеюсь, что Вы с интересом последуете за моим исследованием этого удивительного понятия философии. Тем более что речь ведь идет о прояснении понятия, к которому, как мы видели, относятся такие устремления духа, которые при случае поражают почти каждого, а предрасположенность к ним неистребима в любом мыслящем человеке. [74]

Философия стремится обрести знание. Чтобы быть однозначно охваченными одним и тем же именем, разные вещи должны иметь между собой нечто общее; они должны образовывать единый класс. И вопрос о том, что такое философия, не может выглядеть иначе, как вопрос о том классе знаний, к исследованию и сохранению которого стремится философия. Если мы окинем теперь взором те дисциплины, которые в узком смысле называют философскими, то увидим перед собой весьма пестрое разнообразие. (Причем не будем забывать, что существует и гораздо более широкий смысл термина «философия», который охватывает всю сферу абстрактного естествознания и который, по крайней мере, в Англии еще остается общеупотребительным).⁵ К собственно философским дисциплинам прежде всего причис-

⁵ Термин «*natural philosophy*», как известно, следует переводить не термином «натурфилософия» [*Naturphilosophie*] (примерно в том смысле, как его употребляют Шеллинг и Гегель), но просто словом «естествознание» [*Naturwissenschaft*]. Локк иногда расширяет термин «философия» (См.: *Essay conc. H.U., Epistle to the Reader*) даже до обозначения любого правильного познания.

И у Аристотеля простой термин «философия» имеет смысл, отличный от ныне употребительного. Просто «философия», без добавочных слов, означает у Стагирита, по всей видимости, что-то вроде «теоретической науки» вообще. Науку же он называет «познанием из причины», т. е. пониманием чего-то как одного из проявлений самых общих, последних законов. (См.: *Anal. post. I, 9 p. 76, a, 16*). (Попутно заметим, что и этот последний термин изменил со времен Аристотеля свое значение. Стагирит не стал бы, с точки зрения его понятийных дефиниций, называть историческое познание «знанием» и «наукой», тогда как сегодня это стало общепринятой практикой).

Однако это изменение значения слова «философия» интересует нас здесь меньше, чем вопрос о том, можно ли понять в единстве тот объем значения слова философия, который

ляют метафизику. Она занимается наиболее простыми и общими понятиями (такими, как «сущее», «причина»), а также исследует первые и наиболее независимые (после Божественного) принципы, которые выступают основой бытия всего остального в мире. Но как раз подле метафизики находим мы психологию, которая имеет дело с наиболее запутанными и зависимыми явлениями. Ведь психическая жизнь, — как это ныне всеми признается, — зависит от физиологических процессов. Однако процессы эти обнаруживают [75] столь сложное переплетение физических и химических законов, что по сравнению с ними изменение силовых воздействий при влиянии, которое тела оказывают друг на друга в необозримом мире небесных светил, выглядит легко и просто исчисляемым. Стало быть, уже здесь мы имеем ярко выраженную противоположность между метафизикой и психологией. И эта противоположность не становится меньшей, если мы примем во внимание другие философские дисциплины. Если метафизика и психология были, по крайней мере, едины в том, что они, подобно математике, физике, химии и физиологии относятся к теоретическим наукам, то этика как философская дисциплина, напротив, в значительной мере является наукой практической. Она желает быть *vitae dux*, как звали ее уже древние, хочет устанавливать цель и указывать путь всему образу нашей жизни. И если этика стремится дать нам предписания для целого наших жизненных устремлений, то логика дает, прежде всего, правила пользования суждением при нахождении и проверке истины, тогда как эстетика — указания для художественной и художественно-критической деятельности, для создания и оценки прекрасного.

При таком различии указанных групп философского знания, на первый взгляд кажется невозможным отыскать в них какую-то общую черту, которая могла бы объединить их в класс. Характер различных дисциплин угрожает проявить свою полную разнородность. И тогда естественно, что при недостатке единства в предмете, становится невозможной и единая дефиниция философии, которая бы равномерно учитывала все употребления этого имени. И если кто-то, тем не менее, осмелится употребить такое единое определение, тогда он неизбежно столкнется с тем, что это определение является односторонним; и в зависимости от того, какой конкретно философской дисциплине этот человек уделяет особое внимание, он должен, соответственно, давать определение, существенно отличающееся от других подобного рода определений. К примеру, аристотелевская дефиниция подходит лучше всего для метафизики, как одной из теоретических дисциплин, тогда как определения философии у Зенона и Эпикура, напротив, принимают в расчет, прежде всего, практические дисциплины. К этому можно было бы добавить еще целый ряд случаев, в которых общее определение философии отвечает требованиям той или иной группы исследований, которые обобщаются сегодня термином философия.⁶ Тем самым кажется, [76] будто разногласия философов при истолкова-

стал ныне обычным на континенте и который, помимо метафизики, включает в себя только психологию, логику, эстетику и этику (вместе с философией права и политикой), а также историю всех этих философских дисциплин.

⁶ И определение Вундта (*Logik I*, S. 7: «[теоретическая] философия стремится к решению общих для частных наук проблем») лучше всего подходит для *одной* из философских дисциплин,

нии понятия философии, по крайней мере, отчасти, объясняются недостатком единства знаний, о которых идет речь, отсутствием истинного класса, которому все эти знания принадлежат. А это значит, что и в своем обычном сегодня на континенте употреблении термин «философия» должен считаться если не словом, лишенным смысла, то уж, во всяком случае, лишенным однозначного смысла, т. е. двусмысленным выражением, которое неизбежно будет насмехаться над любой попыткой дать ему единое определение.

Но даже если при таком предположении факт указанных разногласий становится легко и полностью понятным, то это еще не может служить достаточным основанием для того, чтобы немедленно согласиться с данным фактом. Как при любой классификации одних и тех же предметов существуют различные точки зрения, так и группирование наших философских знаний, их объединение в одну науку, тоже может осуществляться с разных позиций. С чисто теоретической точки зрения, подразумевающей наиболее сообразный с природой обзор исследованного, в одну науку составляются именно такие истины, которые в качестве истин обнаруживают внутреннее родство. А уже потом повествование об отдельных исторических событиях и учение о законах (а среди законов, в свою очередь, те, которые господствуют в различных родах и видах предметов) расходятся по разным научным дисциплинам.

С практической же точки зрения, напротив, положения, которые являются между собой разнородными, могут объединяться ради одной цели, которая, возможно, вообще располагается вне [77] сферы познания. Без сомнения, именно так, например, обстоят дела в архитектуре. Ведь, помимо определенных математических и физических знаний, которые безусловно необходимы любому строителю, архитектура предполагает также знания совершенно иного рода – эстетические и многие другие, имеющие отношение к гигиене и к потребностям и удобствам социальной жизни и т. п. Помимо архитектуры, еще и медицина как совокупность необходимых врачу знаний представляется мне ярким примером объединения разнородных знаний в единство, обусловленное одной практической целью. Ведь если анатомия и физиология больного и здорового человека образуют ядро медицинского знания, то сюда с необходимостью относятся и определенные ботанические, минералогические, химические, даже климатологические сведения, а также совершенно специальные знания о химическом составе определенных лекарственных средств и всякого рода знания, лежащие в основе хирургических навыков, и т. д. И здесь единые практические соображения позво-

а именно, для метафизики (и теории познания). Вундт, правда, полагает, что этим определением он одновременно охватывает и сферу логики, называя эту последнюю, наряду с метафизикой, другой половиной теоретической философии. Отчасти это объясняется тем, что данный автор желает включить теорию познания (которая «должна исследовать основания нашего знания и определять его границы») в логику. Вундт приписывает логике наряду с этим и общепринятые задачи, представляя ее даже (а. а. О. S. 1) как «*нормативную науку, сходную с этикой*» («Подобно тому, как этика, чтобы отыскать нормы для практического действия, проверяет нравственную ценность человеческого чувства и волеизъявления, собственную динамику которых изображает психология, так и логика разделяет... и т. д.»). Уже поэтому только мне кажется непоследовательным у Вундта, когда он (на с. 8) все же ставит логику на одну плоскость с метафизикой и полагает, будто при помощи вышеуказанного определения понятия «теоретической философии» он тем самым определил и логику.

ляют однозначно объединить под одним истинным именем класса то многое, что с чисто теоретической точки зрения, в отношении к предмету данного знания, оказывается чем-то внешним. Существует, однако, очень много разных практических точек зрения, поэтому кажется отнюдь не простым и быстрым делом — исключить возможность того, что среди них нет какой-нибудь одной позиции, которая действительно бы обосновывала единый охват всего того, что сегодня называют философской дисциплиной.

Если бы излагаемые в различных философских дисциплинах истины не образовывали ни с какой точки зрения (ни с практической, ни с теоретической) истинного класса, то как бы мы могли тогда называть все их философскими? Было бы это случайностью? Но как может тогда подобное обобщение происходить повсеместно? Ведь уже в отношении преподавания философии мы везде находим соответствующие предметы, составленные для той же самой преподавательской должности, причем не только во всех высших школах Германии, но и у других, самых разных народов. Что же касается научного исследования, то здесь обнаруживается, что различные области, которые называют философскими, обычно разрабатываются одними и теми же мыслителями, причем не только в наши дни, но уже и в прошлые времена. Этот факт требует объяснения, и благодаря такому объяснению наверняка может рассеяться тьма и вокруг нашего вопроса. Думаю, я не ошибусь, если [78] скажу, что в последнем замечании нам указан прямой путь к решению данного вопроса.

Если определенные дисциплины постоянно поручают излагать одному и тому же преподавателю, то происходит это наверняка по практическим соображениям, потому что именно его как учителя считают подходящим для всей этой группы дисциплин. И если определенная научная работа, в отличие от других ее направлений, в целом и постоянно объединяется в руках одних и тех же ученых, тогда отсюда можно заключить, что данное объединение наверняка лучше всего отвечает практическому интересу разделения труда в научном исследовании.

Те различия, которые становятся определяющими, прежде всего, при ясном расположении истин по их естественному родству, вовсе не имеют здесь, для организации труда, того существенного значения, которое захотел бы им придать человек, не достаточно тщательно продумывающий дело.

К примеру, здесь не является важным различие между конкретно-историческим и абстрактно-закономерным, ибо химия имеет дело с общими законами, а история химии — с отдельными историческими событиями, однако только химик может адекватно изобразить историю химии.⁷ Не важно здесь

⁷ Другой пример: Истины астрономии в основном конкретны по своей природе (космография и география небесной сферы), тогда как математическое исследование в значительной степени возносится в мир абстракций. Оно распространяет свое рассмотрение в самой общей форме на всякого рода отношения величин, на многообразия любых измерений, независимо от того, существует или нет их прообраз в действительном мире. Тем не менее, именно великие математики не раз давали обоснование значительных открытий в астрономии, да и чисто специальные факты, как, например, эллиптическая форма планетарных орбит, были выявлены благодаря вспомогательному аппарату математики. И вообще, многие специально-научные знания могут служить вспомогательным средством для решения совершенно иных научных задач, которые с точки зрения чисто систематического расположения не связаны с этими знаниями.

и различие между теоретическим и практическим: химия есть теоретическая дисциплина, и все же только великий химик Либих смог внести в практическую науку земледелия те громадные достижения, за которые благодарно ему ныне полеводство. Еще один представитель этой науки, Пастер, стал благодаря своим исследованиям процесса брожения мощнейшим [79] инициатором развития патологии и терапии, оказав тем самым величайшую услугу человечеству. Аналогичное можно сказать о Гельмгольце, который, занимаясь теоретическими отраслями физики и физиологии, одновременно создал столь важный для офтальмологии офтальмоскоп. И вообще, есть множество разных, практически крайне важных инструментов — телескоп, термометр, часы с маятником, электрический телеграф и т. д., которые вышли из рук исследователей-теоретиков.

Ведь с точки зрения целесообразного разделения труда, с единством философских дисциплин вполне совместима и та ситуация, когда в психологии мы видим философа, занимающегося теоретическим исследованием; в этике, логике и эстетике — находим предписания для практического поведения; в метафизике встречаем размышления о всеобщих законах, а в истории философии, напротив, историко-повествовательные труды.

Что же касается практических дисциплин, то с точки зрения правильной организации труда они, и в самом деле, столь же тесно связаны с психологией, как медицина — с теоретической биологией, или агрономия — с химией. С одной стороны, суждение и его очевидность, чем занимается логик; с другой — выбор (или предпочтение) и критерий его обоснованности, что волнует этика, — все это явно указывает на исходную роль исследования психических процессов.

Скорее, можно было бы задаться следующим вопросом: каким образом метафизика входит в общество этого объединения теоретической психологии и построенных на ней *medicina et diaetetica mentis*, объединения, аналогичного группе биолого-медицинских дисциплин? Это представляется самой тяжелой частью проблемы, частью, которая и в самом деле чаще других моментов подвержена сомнению и заблуждению. Однако более подробное рассмотрение вопроса показывает, что и метафизика с психологией, несмотря на различие их предметов с эвристической точки зрения, тесно связаны друг с другом, и что именно психолог, в отличие от любого другого исследователя, кажется наиболее способным для постановки и решения метафизических проблем. Уже благодаря Канту был поставлен вопрос о том, не существуют ли наряду с аналитическими еще и синтетические априорные суждения? [80] И не являются ли вторые столь же повсеместно необходимыми для научного прогресса, как и первые, однако в отличие от этих лишены всякого значения вне феноменальной области? Если мы так ставим вопрос, тогда очевидно, что решать здесь может только психологическое исследование. Причем ответ на данный вопрос обуславливает любое онтологическое или космологическое исследование.⁸ Тем самым, психологический опыт и

⁸ Незаменимость психологических исследований для вопроса об источниках и границах нашего познания отметил К. Штумпф в своей статье «Психология и теория познания» (из сочинений корол. баварск. Академии наук I. Kl., XIX. Bd., II. Abt.) со специальной ссылкой на так на-

анализ оказываются тем единственным, что только и может привести к источнику и подлинному смыслу таких важнейших [81] метафизических понятий, как причинность [Kausalität] или субстанция. Ну, а теперь коснемся проблемы, которой столь интенсивно занимались Аристотель, Декарт и Лейбниц. Имеется в виду вопрос о том, не является ли некий аналог рассудка и планомерной воли последней скрытой причиной всего бытия и происходящего? Очевидно, что вопрос этот никак не мог возникнуть иначе, как только на психологической основе. Ведь сами понятия рассудка и воли заимствованы из психической сферы. Когда область психологии, процессы которой характеризуются наибольшей сложностью и зависимостью, образует для нас исходный пункт изучения самого простого и независимого, тогда вполне подтверждаются слова Аристотеля: что по природе является самым ранним и первым, то для нашего познания выступает последним.⁹ Таким об-

зывается неокантианскую школу, которая в данном моменте упускает истинную взаимосвязь.

Признание правильного положения дел (по крайней мере, скрыто) уже содержится в том моменте, на который обратили внимание Дж. Локк и Д. Юм, а именно, что одно из важнейших обстоятельств, которым обусловлены значение и ограниченность нашей способности познания, заключено в раз и навсегда данном числе и виде последних элементов наших созерцаний [Anschauungen]. Ведь Локк и Юм совершенно ясно сознавали, что микроскопическое расчленение и описание этих представлений составляет одну из задач психолога.

На этот способ исследования условий и границ нашего познания, как мы обнаруживаем его у предшественников кантовского критицизма, будет по определению ссылаться тот, кто отклоняет в качестве иллюзорной попытку Канта построить науку на априорных синтетических суждениях и на врожденных «формах». Именно тогда вступает в силу тезис Д. Юма: там, где кто-то делает вид, что оперирует понятиями, черты которых не могут засвидетельствовать свое легитимное происхождение ни в каком опыте, тот может быть уверен, что ему предстоит неподобающее проникновение в сферу мыслей, бессмысленное слово. Пожалуй, истинно то, что мы не прикованы к содержанию нашего опыта *таким* образом, что не могли бы каждый раз по-новому комбинировать его элементы; полученные же посредством такого синтеза представления могут быть ценным, даже незаменимым приобретением для закономерного понимания действительности. Но даже самое оригинальное и по видимости наиболее свободное из формообразований наших представлений содержит в себе, в конце концов, сплошь такие составные части, которые — как было отмечено — абстрагированы из внешнего или внутреннего опыта. В *этом* смысле все наши представления, а вместе с ними и все наше познание (ибо о чем у нас нет представления или понятия, о том мы не можем составить и суждения), связаны с актами созерцания и ограничены ими. Психологический анализ содержания нашего внутреннего и внешнего опыта выступает, таким образом, очевидным основанием этого — как я полагаю — более надежного метода для измерения истинных границ нашего познания.

⁹ *Analyt. Post.* I, 2 p. 71, b, 33. «О более раннем и понятном можно говорить в двойном смысле. Ведь не есть одно и то же, что является более ранним по природе и что для нас является более ранним, равно как и то, что по природе более понятно и что более понятно для нас». См. также: *Top.* VI, 4 p. 141, b, 5, а также: *Metaph.* VII (Z), 4 p. 1029, b, 3. «Так оказывается в заключительной точке, что для всех путь познания начинается с того, что является по природе менее понятным» (т. е. с того, что в естественном порядке истин является чем-то обусловленным и производным) «и переходит к тому, что по природе более понятно» (т. е. к тому, что объективно образует основу чего-то другого).

Наглядные подтверждения этой истины дает не только метафизика, но и любая наука, основанная на доказательстве и индукции, не исключая физику и астрономию. Случай, когда законы Кеплера, будучи следствиями общего закона гравитации, были открыты раньше этого последнего, может ежедневно повторяться в каком-нибудь другом месте. Этой повсеместно властвующей противоположности между порядком истин в отношении их внутрен-

разом, мы и в самом деле видим, что разделение труда есть та методико-практическая точка зрения, которая оправдывает объединение всех философских дисциплин и позволяет понять их как единую по своей природе, хотя и обширную группу.¹⁰ [82] И таким образом мы можем определить фило-

ней зависимости и фактическим ходом их познания соответствует еще одно высказывание Галилея. Речь у него идет о том, что тропы, по которым природа влечет за собой события, суть нечто совсем иное, чем те обходные пути, по которым мы должны бродить, чтобы как-то постичь возникновение этих событий.

¹⁰ Насколько важно, с эвристической точки зрения, чтобы метафизические исследования выстраивались совместно с психологическими, — на это в новейшее время прежде всего указал Фр. Brentano (уже в своих Вюрцбургских лекциях). Именно Brentano подчеркивал и (*Psychologie vom empir. Standp.* [Психология с эмпирической точки зрения] S.26 ff. und 342) практическое значение психологии как основы для планомерного стремления к идеальной организации душевной жизни и к лечению ее недугов. Впрочем, этот последний момент, т. е. взаимосвязь теоретической науки о духе с практическими дисциплинами этики, логики и эстетики (Т. Липс желал бы видеть эти последние непосредственно в составе «психологических дисциплин») уже неоднократно признавался и другими авторами.

Тем самым нами высказана мысль о том, что если никакой другой, то уж, по крайней мере, практический учет правильной организации труда придает всем дисциплинам, называемым ныне у нас философскими, не одно лишь случайное единство, раз он объединяет их в естественный класс.

То, что с теоретико-систематической точки зрения психологические истины не родственны по своей природе истинам метафизики, — это в новейшее время осознавалось неоднократно. Но поскольку некоторые авторы не заметили при этом возможности практического единства данных истин, постольку они пришли к однозначно отрицательному ответу на вопрос о том, является ли выражение «философская дисциплина» названием истинного класса. Так, например, раздавались голоса, которые для придания этому термину смыслового единства относили его только к метафизике (вместе с теорией познания), исключая при этом психологию. Но тогда было бы логично прекратить разговоры о философии морали и права. И даже логику (в смысле указаний для построения правильных суждений, т. е. *art de penser*, как ее определяла не только картезианская школа, но уже Аристотель, а потом и современные выдающиеся логики) нельзя было бы тогда подвести под имя философии, вопреки стремлению некоторых мыслителей построить эти практические дисциплины на основе метафизики. Сделать это в отношении логики сегодня вряд ли кто уже пытается, да и в отношении этики это тоже маловероятно.

Для подтверждения правильности того, что, как мы считаем, было аналитически изложено с помощью вышеприведенных рассуждений, мы в кратком замечании привлечем еще и свидетельство истории. Против этой ссылки можно было бы возразить, что, например, Аристотель и такие большие школы античности, как стоики и эпикурейцы, причисляли к философии не только дисциплины, ныне называемые философскими, но также всю область естествознания. Далее, что не только Анаксагор и Демокрит, Пифагор и Эмпедокл были отчасти врачами, отчасти же астрономами и математиками, но и сам Стагирит, помимо исследований в области психологии и онтологии, фактически с не меньшим усердием предавался естественнонаучным, прежде всего, биологическим исследованиям. Позднее Декарт, Гоббс, Лейбниц, Шеллинг, Гегель и др. тоже отнюдь не придерживались границ той сферы, которую мы определили ныне философу.

Однако ж я не могу усмотреть в только что приведенных замечаниях решающего аргумента против нашей постановки вопроса. Прежде всего, надо помнить, что результат размышлений того или иного философа о соединении определенных истин в одну группу или, напротив, об их распадении на несколько групп не является тем основанием верификации наших рассуждений, которому следовало бы придавать принципиальное значение. Ибо такая теория и классификация могла и может исходить из совершенно других точек зрения, нежели с точки зрения методического разделения труда. В таком случае она с необходимостью должна приводить к совершенно иным результатам. Так действительно и случилось

у стоиков и эпикурейцев, а также у Аристотеля. Последний различал, к примеру, в отношении *природного средства* истин, сообразно трем степеням абстракции материи, три теоретические науки, а именно: физику, математику и (названную позднее метафизикой). Не является также совсем уж чем-то невероятным, что под именем Аристотель объединял математику с физикой. (Психология распалась у него на физическую и метафизическую части, сообразно с нематериальной, ноэтической и чувственной частями души, имманентными в качестве «формы» органическому телу). Во всяком случае, Аристотель использует термины «первая» и «вторая философия» в качестве названия классов *теоретического* познания. Следовательно, его классификация и определение понятий, хотя они и руководствуются совсем иными, чем у нас соображениями, все же не противоречат нашим утверждениям.

Но даже если некоторые философы, думая как раз о практической точке зрения организации труда, предложили бы разделение наук, отличное от нашего, то мы бы не смогли рассматривать это в качестве решающего момента. Максимально целесообразное разделение или соединение научного труда есть дело методологии и логики, применяемой в течение всего исследования. Как в целом, так и в частности, логическая практика, как правило, выступает раньше логической теории. Методы проверки и открытия истин уже спонтанно применяются, прежде чем теоретическая рефлексия даст себе *in abstracto* в этом отчет. Таким образом, фактическая практика исследователей, как она постепенно складывается в ходе истории, оказывается для нас и в отношении эвристически плодотворного разделения научных отраслей более существенным свидетельством правильной позиции, чем попытки осознать эту практику и как-то ориентироваться на нее.

Теперь коснемся возражения, что именно сам ход вещей тоже не вполне соответствует нашей схеме, поскольку можно привести в качестве примера целый ряд философов, которые более или менее далеко вышли за рамки той сферы деятельности, которая носит сегодня имя философии. На это следует заметить, что речь здесь не должна идти о том, занимался ли тот или иной исследователь (тем более, если для этого имелись особые основания), помимо причисляемых сегодня к философии областей еще и другими предметами. Напротив, вопрос состоит в том, *что в этом отношении было правилом* и осуществлялось почти повсеместно. Прежде всего, здесь не принимаются в расчет те ученые мужи, для которых в силу их чрезвычайно разносторонних талантов и необъятной работоспособности было *ненужным* разделение труда и концентрация на каком-то одном предмете. Тем самым мы отвлекаемся здесь от такой универсальной головы, как Аристотель, а также от Лейбница, о котором Фридрих Великий сказал, что он один представляет собой целую Академию наук. С другой стороны, здесь отпадает и ссылка на состояние, господствовавшее в эпоху ионийцев, элеатов и пифагорейцев, поскольку из-за небольшого объема научной работы ее разделение тогда *вообще еще не наступило*. Аналог тех начал исследования встречаем мы, однако, в начале современной эры, когда была полностью прервана связь с традицией, и люди вновь обратились исключительно и непосредственно к изучению природы. Правда, во времена этой *второй юности* науки более редкими стали ученые, которые бросали свой разносторонне удачливый взор сразу на ряд областей знания, и которые, подобно Картезию, сумели непреходящими открытиями одновременно обогатить математику, физику и философию (в узком смысле).

В конце концов, против нас не должно быть обращено и то обстоятельство, что в известные *эпохи распада* философии ее специалисты (даже если таковых было много) перешагивали границы описанной нами области философии. Действуя согласно неестественно-произвольному методу (См. об этом: *Fr. Brentano, Die vier Phasen der Philosophie, Stuttgart 1895*), они нарушали любой внутренний масштаб и основу для сохранения границ естественного разделения труда. Определяющими при этом для них могли оказываться лишь случайные, внешние обстоятельства. Столь же легковесным и софистическим (или фантастическим) способом, каким они обсуждали психологические и метафизические вопросы, они мнили также исследовать и решать проблемы естествознания и истории, не обременяя себя вспомогательными средствами и обстоятельным предварительным изучением материала. И вот тут-то мы обнаруживаем этих ученых мужей вроде Шеллинга и Гегеля с их учениками, которые уверенно занимаются «натурфилософией», издают «Вопросы спекулятивной физики» [*Zeitschrift für spekulative Physik*] (1800-1801) и «Ежегодник по научной медицине» [*Jahrbücher der Medizin als Wissenschaft*] (1806-1808) и отважно пускаются в разговоры на темы астрономии и химии, биологии и всемирной истории.

Заметим попутно, что как раз односторонним вниманием к этим явлениям в истории философии объясняются ранее упомянутые дефиниции философии, а именно, та из них, с которой мы могли меньше всего согласиться. С учетом этого, многие полагали, что философии свойственно в отважном порыве рассматривать любые вопросы при помощи спекулятивного или априорного метода, тогда как «специальное исследование», которое противопоставлялось сущности философии, якобы стремится решать свои вопросы на долгом пути эмпирического исследования. Отсюда возникало стремление сделать «философию» чуть ли не названием ложного метода науки. Этот результат был в том смысле закономерен, что, если эмпирия является плодотворным источником для решения определенных проблем, то априорная спекуляция может быть только ложным путем решения. Однако неправильным было стремление из одностороннего рассмотрения определенных фаз истории философии формировать суждение об устремлениях этой дисциплины в целом. И если, по словам Платона, плохой врач не есть, собственно, врач, тогда несправедливо причислять к сущности медицины те скоропалительные и фантастические теории, которые господствовали одно время в этой науке. Аналогичное можно утверждать и применительно к истории философии.

Впрочем, неудачные рейды некоторых философов в область естествознания, истории и т.д. приносили и полезные результаты для философии. Ибо неотвратимая и очевидная неудача деятельности философов в тех областях, где надежный масштаб для оценки истинно научных достижений очень скоро высказывает свой беспощадный приговор бесосновательным суждениям, должна была подготовить их фиаско и в сфере психологии, этики и т.д. Тем самым становилось ясным, что хваленое «интеллектуальное созерцание» и волшебное средство «диалектического метода» ведут лишь к мнимым успехам, и только шаг за шагом продуманный образ действий, вооруженный средствами наблюдения и эксперимента, индукции и солидной демонстрации опытов, может принести здоровые плоды знания.

Но если в эти эпохи распада фактическое распространение так называемых притязаний философии не может служить свидетельством ее естественных границ, тогда все же достаточным будет для определения этих границ взгляд на практику *других дисциплин*, где для исследователей еще действуют основания естественного разделения труда. Ведь там эти естественные границы можно увидеть, по крайней мере, извне, причем тем рельефнее, чем больше в этих обстоятельствах должна бросаться в глаза противоположность их способа рассмотрения проблем по отношению к философскому методу.

Мы признаем, что и весьма серьезные философы заходили в область наук о природе, математики и т.д., внося значительный вклад в эти науки. Обратное тоже имело место, и в особенности выдающиеся естествоиспытатели то и дело, в разной степени сознавая, что они занимаются философствованием, делали предметом своих размышлений психологические и космологические, даже логические и эстетические вопросы. Мы благодарны, например, Ньютону за его, помимо прочего, замечательные размышления в области логики. Мы благодарны также Иоганну Мюллеру, Фехнеру, Гельмгольцу, Герингу, Маху, Фику и др. за их ценный вклад в экспериментальную психологию, да и многих других естествоиспытателей мы благодарим за их, без сомнения, философские достижения. Однако следует признать, что и здесь перешагивание границ своей области составляло не правило, а исключение. Уже поэтому для верификации результатов нашего рассмотрения, вытекающего из природы самого предмета, вполне достаточно того, *что* мы находим в качестве исторической данности.

Наконец, мы хотели бы вкратце остановиться на еще одном возможном недоразумении. Утверждая выше логико-практическое единство (в отношении исследовательской практики и учения) всех, названных ныне философскими, групп истин и дисциплин, мы тем самым вовсе не желаем в любом смысле и на все времена исключать дальнейшее разделение их труда. И если мы окинем взором весь предмет философии, то он представится едва ли менее разработанным, чем предмет естествознания. В прошлом небольшое число рассматриваемых вопросов и малый объем исследуемого материала позволял в науках о природе представлять целый ряд теоретических и практических предметов в строгом смысле одному и тому же исследователю и преподавателю, тогда как сегодня мы видим их распределенными на целое множество различных научных институтов и учебных заведений. В философии тоже могут и должны постепенно происходить подобные изменения. Предварительно мы имеем в случае философии (или, по крайней мере, имели вплоть до последнего времени) состояние, аналогичное тому, которое царило в биологии или психологии сто и более лет тому на-

софию как ту область знания, которая охватывает психологию и все [83] теснейшим образом связанные с психологическим исследованием дисциплины. [84] Из теоретических наук философия включает в себя метафизику (и теорию познания), из практических — этику, [85] философию права и политику (вместе с социологией и философией историей), и далее — логику и эстетику. Наконец,¹¹ [86] мы вынуждены сделать еще одно добавление, дабы

зад, когда врач-клиницист одновременно практиковал и преподавал анатомию и физиологию, или даже, как Бургав, еще и ботанику с химией. Тут это отношение постепенно уступило место другому состоянию, которое некоторые с сожалением расценивают как раздробленность медицинского знания. Однако это сожаление было бы оправдано только в случае неуместного отрыва отдельных ветвей медицины от ее центра, от анатомии и физиологии. Среди же философских дисциплин аналогичное центральное место занимает психология, поэтому без изрядных знаний в области психологии любой этик или эстетик должен, разумеется, считаться таким же шарлатаном, как и врач, если он оказывается чужаком в сфере анатомии и физиологии. Только когда сохраняется контакт с психологией как с живым сердцем философии, тогда могут и отдельные органы ее тела вести относительно самостоятельную жизнь. Короче говоря: разделение труда, которое взаимно противопоставляет философию и естествознание как обширные группы научных дисциплин, не должно останавливаться на этом первом шаге. Ведь нет никакого противоречия в ситуации, когда то, что разделение труда соединяет в основных классах дисциплин, оно потом, при прогрессирующем расширении и углублении исследования, разделяет в подчиненных классах, — при условии, конечно, что при этом не утрачивается сотрудничество дисциплин. Однако практика, без сомнения, покажет, что специалист-естествоиспытатель чаще вынужден просить совета у специалистов других естественных наук, чем у философов, и наоборот.

¹¹ Возможно, кто-то пожалует о том, что мы не упомянули здесь *педагогика*. Однако мне кажется, что педагогика, поскольку она в полном и строгом смысле относится к философии, уже содержится в перечисленных выше дисциплинах. Ибо в этих пределах она есть не что иное, как сегмент трех известных практических наук о духе, т. е. часть коммуникативной логики, этики и эстетики в их специальном применении к незрелому возрасту. Я подчеркиваю: в какой мере педагогика есть в строгом смысле философская дисциплина. Ибо таковой она является лишь в той мере, в какой она делает своим предметом воспитание души и тем самым пользуется, главным образом, психологическими источниками. В качестве учения о гигиене и воспитании тела педагогика в этой своей специальной части идентична медицине и подобно ей основывается на результатах биологического исследования. Но поскольку физическое здоровье рассматривается не как самоцель, а как предварительное условие здоровья психического (*mens sana in corpore sano*), постольку медико-физиологическая часть педагогики подчиняется обычно ее психологической части, негласно включаясь в нее.

Известно, что и *политическая экономия* [*Nationalökonomie*] понималась ее основателями как философская дисциплина. Адам Смит недвусмысленно рассматривает ее как часть своей системы моральной философии, а в новейшее время так называемая австрийская школа особенно настойчиво подчеркивает связь политической экономии с психологией. Не претендуя здесь на решение вопроса о том, насколько уже сегодня стало бы полезным более интенсивное привлечение психологии к изучению политической экономии, мы все-таки должны отнести этот предмет также к группе философских дисциплин. Мы не сделали это явным образом лишь потому, что политическая экономия кажется нам специальной частью политики (в аристотелевском смысле этого слова).

А то, что *политика* самым тесным образом связана с этикой и без обращения к высшим и принципиальным моментам в ценностях и задачах человека лишается всякой путеводной звезды, — это единодушно признавалось всеми значительными деятелями данной науки, от Аристотеля до Бентама. Последний считал, что государственное законодательство и мораль имеют перед собой одну и ту же цель, только в различном протяжении. И у Аристотеля политика и этика столь тесно связаны друг с другом, что этика представляется лишь как первая и основополагающая часть политики.

предупредить иллюзию того, будто история психологии может быть успешно написана кем-то иным, нежели психологом, а история эстетики [87] — кем-то другим, а не опытным эстетиком. Другими словами, мы добавляем сюда из конкретно-исторических дисциплин историю философии вместе с историей всех относящихся к ней специальных дисциплин.¹² [88]

Если мы окинем взором это обширное философское поле, не менее протяженное, чем сфера естествознания, располагающегося по-родственному рядом с философией, то становится понятным ряд особенностей, замеченных в этой дисциплине.

Сначала о *трудностях* предмета философии. Продвигаясь от простейшего к более сложному, мы, в конечном счете, достигаем психологии, в предмете которой физические процессы самым различным образом переплетены с химическими, а сознательные акты — с физиологически бессознательными. И если в психологии философ имеет дело со сложнейшими явлениями, то в метафизике — с такими феноменами, которые, правда, по природе являются самыми первыми и простыми, однако для наших ограниченных познавательных сил — чем-то последним.

Но со сложностью и зависимостью предмета связано *отсталое состояние* науки.¹³ И не существует никакого точного познания законов протекания

Не стоит удивляться тому, что именно в отношении к политической экономии (отчасти это имеет силу и для педагогики) уже осуществились та относительная самостоятельность и более узкое разделение труда, которые мы объявили вполне совместимыми с принадлежностью к философии как более широкой эвристическо-практической группе дисциплин. Для достижения плодотворных и надежных обобщений обе дисциплины (но особенно политическая экономия) нуждаются в обширном эмпирическом, историко-статистическом материале. Однако для сбора и отбора такого материала требуются соответствующие способности, особый глаз на конкретное и практическое, а также методологическая выучка при использовании и упорядочивании исторических фактов, то есть способности, в которых просто специалист-психолог непосредственно не нуждается. Конечно, может статься и так, что в какой-то из указанных отраслей исследования некоторое время вообще преследуется лишь цель, главным образом, запастись богатым фактическим материалом, хотя и без ущерба для научного характера работы. Ведь эта последняя продолжает повсюду руководствоваться стремлением подготовить и обеспечить добывание общих законов посредством индукции. А тот, кто создает посылки, — тот в известном смысле уже начинает и с выводом.

¹² Е. Адикес посвятил ректорской речи Марти рецензию (*Deutsche Literaturztg.* 1899, S. 855-857), в которой относительно выше приведенного определения философии, он, главным образом, выдвинул упрек в психологизме. Сам же Марти выдвинутые упреки уже основательно опроверг в своих «Исследованиях по основам всеобщей грамматики и философии языка» [*Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie*], Halle 1908, Bd. I, S. 6–18. — *Прим. немец изд.* См.: Anton Marty. *Gesammelte Schriften.* (J. Eisenmeier, A. Kastil, O. Kraus. — Hrsg.) I. Bd., 1. Abt. Halle a. S.: Max Niemeyer Verlag, 1916. S. 87. — *прим. перев.*

¹³ А еще, конечно, и ошибочные представления о том, что здесь вообще доступно исследованию, а также временами полностью ошибочное применение метода. Допустим, что мы убедились, что разногласия между дефинициями философии, предложенными разными философами, отчасти связаны с тем, что философия в разных своих отделах занимается совершенно разными предметами. Тогда все другие моменты разногласий можно все-таки объяснить тем, что определение философских понятий естественным образом связано с фундаментальными представлениями о характере наших познавательных способностей и о правильном методе исследования. Только в силу доверия к своему якобы абсолютному методу Гегель мог определять философию как науку об абсолютной истине. Но и дефиниция философии, которая была обычной в кантовской школе (философия как система знаний, состо-

психических процессов без физиологии. Но если физиология вообще считается самой молодой среди естественных наук, то особенно это справедливо в отношении физиологии мозга. Более значительное развитие этой дисциплины наблюдалось только в самые последние десятилетия, но несмотря на это, она до сих пор стоит на очень шатком основании. Закон, описывающий по видимости столь запутанные орбиты планет, мы открыли; а вот разгадка орбит движения молекул мозга, с которыми связана изменчивая игра наших мыслей, тоска и надежда, томление и страх нашей души, — над этим еще предстоит потрудиться будущим поколениям. [89]

Какими бы ни были тяжелыми философские вопросы и несовершенными их решения, они все же постоянно и в особой мере возбуждают то всеобщее участие, которое — как мы видели — уже в самом этом слишком смелом подключении к философствованию обнаруживает известный дефицит подготовки. Понятно и это своеобразие философского знания, присущий ему мощный интерес, который успешно состязается даже с познавательным интересом естествознания. Если наука о природе учит нас познавать землю и небеса, то философия — наш внутренний мир; и голос совести внутри нас не меньше звездного неба над нами способен наполнять душу постоянно новым восхищением и благоговением. Естествознание знакомит нас с некоторыми средствами, благодаря которым можно распространить на Земле человеческую культуру. Философия говорит нам, в чем состоят главные и существенные блага этой культуры. Только философия ведет речь о радостях и горестях человеческой души, только она говорит о том, что составляет противоположность знания и лжи, добродетели и порока, одним словом, о том, что единственно придает ценность человеческой жизни.

Открытия естествоиспытателей почти беспредельно расширили наши телесные силы и техническое мастерство. Но и к психическим законам относится известное бэконовское выражение «знание — сила», и только психологическое знание, которым обусловлена культура души, может уберечь нас от того, чтобы умноженная материальная сила, подобно ножу в руках ребенка, не использовалась во зло, но приносила бы только добро и благо. Такие проницательные социологи, как Дж. С. Милль указали на опасность, возникающую для человечества, когда односторонний прогресс естествознания, усиливая технические средства человечества, не получает при этом соответствующего благословения со стороны философского прогресса и основанного на нем улучшения морального образования и дисциплины. Социальный вопрос ясно показывает ныне всем мыслящим людям справедливость данного замечания.

Эта сокровенность и серьезность философских вопросов, их непосредственная связь с высшими и важнейшими интересами человека, имело своим особенным практическим следствием то, что размышления над этими вопросами облагораживающим образом воздействовали на ум и душу человека, даже если попытка научно решить их [90] вначале оказывалась безуспешной. Такие великие мыслители, как Сократ, Платон, Спиноза и др.,

ящих из одних только понятий), тоже объясняется господствовавшей там особой теорией, описывающей природу и условия нашего познания.

о жизни и творчестве которых сообщает нам история философии, останутся в смысле своего морального облика и спустя тысячелетия идеалами и светочами для будущих поколений. И это притом, что философская система Спинозы страдает от многочисленных недостатков, этические размышления Сократа останавливаются в своих началах, а платоновское учение об идеях и числах оказывается перед лицом трезвой критики одним сплошным заблуждением. Но стремление, беззаветно преданное самому возвышенному, уже само по себе возвышает и облагораживает стремящегося. Человек растет вместе с более высокими целями, которые он перед собой ставит. Это можно выразить и словами одного ученого мужа, которого преданность высшим проблемам тоже привела, причем, по-видимому, после бурной юности, к позиции мученика – к героическому отречению от жизни ради собственных убеждений. Я имею в виду слова Джордано Бруно:

*Пусть стремление остается вне цели,
И душа изводится в страстном порыве,
И тело бледнеет, – лишь бы было священным
Пламя, что возгорается в нас.¹⁴*

Правда, по поводу исключительной судьбы философии древняя пословица утверждает, сравнивая между собой различные дисциплины, входящие в *universitas litterarum*:

*Богатство предлагает Гален, дарит тебе честь Юстиниан,
А род и вид обречены жалко странствовать пешком.¹⁵*

Однако к внутренней ценности философии все-таки часто присоединяется и внешнее счастье, причем в виде благ, которые прежде всех других можно назвать отрадными. Вряд ли кто-то не согласится с Аристотелем, когда он причисляет дружбу к высшим человеческим благам: без друзей никто бы не захотел жить, будь он даже осыпан всеми другими земными дарами.¹⁶

Совместное же рассмотрение глубочайших вопросов философии кажется [91] совершенно благодатной почвой для возвращения этого драгоценного плода, и, действительно, как свидетельствует история, благородное имущество дружбы особенно щедро выпало на долю философов-мыслителей. С какой любовью относился элеат Зенон к своему учителю Пармениду, Платон – к Сократу, а Теофраст – к Аристотелю! И пропуская многие другие подобные случаи, позвольте мне привести пример такой философской дружбы из современной эпохи, поскольку пример этот непосредственно ка-

¹⁴ Eh bench' il fin non consegua,
E'n tanto studio l'alma dilegua
Basta che sia si nobilmente accesa.
(De gl'heroici furori)

¹⁵ Dat Galenus opes, dat Justinianus honores;
At genus et species cogitur ire pedes.

¹⁶ Eth. Nicom. VIII, 1, p. 1155a, 5.

сается нас с вами. Я имею в виду то сердечное почтение, с каким относились к благородному Бернарду Больцано¹⁷ его многочисленные ученики. Речь идет о привязанности, которая просуществовала гораздо дольше краткой жизни этого, во многом непризнанного ученого, и которая спустя более 40 лет привела к тому, что целый ряд лиц (как светского, так и духовного звания), верные памяти своего учителя, объединились для учреждения Фонда Больцано в нашем и Чешском университете.

Однако после этих слов о практических особенностях философии позволюте мне на минуту возвратиться к ее теоретическому своеобразиею. Мы видели, что философия в некотором смысле зависима от всех других наук. Как заметил один остроумный ученый, «пофилософствовав о луне, мы можем приступить к психологии».¹⁸ Но, учаь у всех других наук, [92] философия многим из них и воздает. Воспринимая от истории, филологии, лингвистики и правоведения материал для своих широких индуктивных обобщений в смысле наук о духе, философия предоставляет конкретно-историческим дисциплинам результаты этих обобщений в качестве благодарности и услуги. Ведь для того, чтобы узреть в пестром многообразии исторических событий царящий в них всеобщий закон, мы берем на себя тягостный труд по выяснению и установлению деталей этих событий. С другой стороны, мы видим, что физиология и все прямо или косвенно связанные с нею естественные науки образуют необходимый фундамент для исследовательской работы психолога и метафизика. И если это так, тогда поиск психологом-метафизиком законов психических процессов как наиболее сложных явлений природного мира, поиск им последних оснований реального, представляется, в свою очередь, достойным завершением любого учения о более простых природных процессах и о более частных причинах бытия и всего происходящего. Можно даже сказать, что теоретико-познавательные опыты философа имеют своей непосредственной целью проверку и оправдание всех усилий науки по установлению источников и границ любого истинного познания. Таким образом, философское размышление тысячью нитей связано со всеми другими дисциплинами, поэтому решение философских проб-

¹⁷ Б. Больцано, родившийся в 1781 году в Праге, проявил свою одаренность и педагогический талант в одинаковой степени, как в математике, так и в философии. Как известно, он долгие годы был профессором философского религиоведения в Пражском университете, где своим учением и примером он оказал на учащихся благотворное влияние, направленное на осознание и этическое углубление религиозного чувства. Его опубликованные в 1813 году назидательные речи к академической молодежи, а также разного рода слухи о том, что его лекции якобы содержат в себе пагубные для государства и церкви новшества, возбудили к нему недоверие начальства. Но поскольку Больцано отказался выступить с опровержением своего учения, он был уволен со своей должности после пятнадцати лет самоотверженной педагогической деятельности. После этого он уединился в деревне, где продолжал работать как плодотворный писатель до 1848 года.

Наиболее значительные из философских и теологических сочинений Больцано были опубликованы его учениками. К таковым относятся: «Наукоучение» (Зульцбах, 1837), «Парадоксы бесконечного» (Лейпциг, 1851), «Учебник по религиоведению» (Зульцбах, 1834). Основатели вышеупомянутого Фонда также планировали вначале израсходовать соответствующие денежные средства на новое издание трудов своего учителя.

¹⁸ E. Mach. *Populär-wissenschaftliche Vorlesungen*. Leipzig 1896, S. 101.

лем является важнейшей задачей разума и представляет собой интерес всякого научного исследования. Принимая в расчет и это отношение, а не просто говоря pro domo, я бы позволил себе в этот торжественный момент и в этом месте, с которого к вам поочередно обращаются разные факультеты нашей alma mater, попытаться прояснить понятие философии и высказать добрые слова о ее значении.

К лучшим традициям немецких университетов всегда относилось стремление напоминать о внутренней связи всего научного знания и сохранять для этого открытым взор представителей науки. Пусть в память об этой связи прозвучат сегодня и наши размышления. Ведь в свете внутреннего единства знания неизбежно исчезает мелкое тщеславие и ревность; напротив, здесь воспламеняется благородное соперничество в стремлении к общей цели, которая придает истинное освящение и достоинство любому нашему усилию, независимо от того, стоит ли оно ниже или выше в иерархии научных дисциплин.

Жизнь человеческая коротка, а богатство еще не изведенного наукой беспредельно. Благо нам, если в служении этому великому делу важным оказывается не количество и качество достигнутого знания, а само благородное стремление познавать в том месте, к которому каждого из нас призывает наша особая склонность и наше дарование. Это бескорыстное старание является само по себе нерушимой ценностью, коль скоро оно, даже поначалу обращаясь к незначительному и частному, не забывает о великом и целом. Ибо непоколебимой остается мысль, высказанная Джоном Локком: «Любовь к истине ради нее самой составляет важнейшую часть земного человеческого совершенства и средоточие всех других добродетелей».

Перевод с немецкого Сергея Поцелуева

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках программы «Брентано и его школа: развитие проблем сознания и интенциональности в феноменологии и аналитической философии XX в.» (проект № 01-03-00280а).